Ближе остальных к великой трансформе, уводящей в Небесный Иерусалим и в Синклит Мира, подошли к настоящему времени Лермонтов, **Владимир Соловьев**, император Иоанн  VI , а также два духа, чьи имена вызвали мое удивление, но были два раза твердо произнесены: Шевченко и Павел Флоренский.

...В метаистории новейшего времени совершается таинственнейшее событие: низлияние в нашу брамфатуру новых божественно-творческих сил. Об этом событии мечтали с древних времен сердца самые возвышенные, умы самые истонченные. И вот оно совершается. Первое звено этого события — события такого значения, что его можно сопоставить лишь с вочеловечением Планетарного Логоса, — имело место на рубеже  XIX   столетия: **то было низлияние сил Приснодевы-Матери**, но не безличное, как это имело место уже дважды в истории человечества, а несравненно усиленное личным своим характером. **С высот Вселенной нисходила в Шаданакар великая богорожденная монада.** Прозрение в Раорис — один из высочайших слоев нашей брамфатуры, в который Она вошла тогда, было дано почти столетие спустя Владимиру Соловьеву, когда он в Египетской пустыне звездной ночью пережил потрясающий прорыв сознания и воочию узрел это Великое Женственное Существо...

**Миссии и судьбы.**

Какая странная фигура — Владимир Соловьев на горизонте русской культуры! Не гений —но и не просто талант; то есть как поэт — пожалуй, талант, и даже не из очень крупных, но есть нечто в его стихах, понятием таланта не покрываемое. Праведник? Да, этический облик Соловьева был исключительным, но все же известно, что от многих своих слабостей Соловьев при жизни так и не освободился. Философ? Да, это единственный русский философ, заслуживающий этого наименования безо всякой натяжки, но система его оказалась недостроенной, большого значения в истории русской культуры не имела, а за границей осталась почти неизвестной. Кто же он? Пророк? — Но где же, собственно, в каких формах он пророчествовал и о чем? Может быть, наконец, «молчаливый пророк», как назвал его Мережковский, — пророк, знаменующий некие духовные реальности не словами, а всем обликом своей личности? Пожалуй, последнее предположение к действительности ближе всего, и все-таки с действительностью оно не совпадает.

Философская деятельность Соловьева диктовалась намерением, которое он очень рано для себя определил: подвести под богословское учение православия базис современной положительной философии. Часто, конечно, он выходил далеко за пределы этого задания; на некоторых этапах жизни даже уклонялся от строгой ортодоксии, вследствие чего, например, его капитальная работа « La   Russie   et   l ` eglise universeile » даже не могла быть опубликована в России. Но он постоянно был озабочен тем, чтобы не оказаться в религиозных отщепенцах, и вряд ли что-нибудь рисовалось ему в более отталкивающем виде, чем судьба ересиарха.

И все же он оказался — не ересиархом, конечно, но предтечей того движения, которому в будущем предстоит еще определиться до конца и к которому православная ортодоксия, во всяком случае сначала, быть может, отнесется как к чему-то, недалекому от ереси.

Великим духовидцем — вот кем был Владимир Соловьев. У него был некий духовный опыт, не очень, кажется, широкий, но по высоте открывшихся ему слоев Шаданакара превосходящий, мне думается, опыт Экхарта, Бёме, Сведенборга, Рамакришны, Рамануджи, Па-танджали, а для России — прямо-таки беспримерный. Это — три видения, или, как назвал их сам Соловьев в своей поэме об этом, «три свидания»: первое из них он имел в восьмилетнем возрасте во время посещения церкви со своею бонной, второе — молодым человеком в библиотеке Британского музея в Лондоне, а третье — самое грандиозное — вскоре после второго, ночью, в пустыне близ Каира, куда он устремился из Англии, преодолевая множество преград, по зову внутреннего голоса. Отсылаю интересующихся и еще незнакомых с этим уникальным религиозным документом к поэме «Три свидания»: она говорит сама за себя. Цитировать ее в настоящее время я лишен возможности, а передавать ее содержание собственными словами не дерзаю. Осмелюсь констатировать только, что Соловьев пережил трижды, и в третий раз с особенной полнотой, откровение Звенты-Свентаны, то есть восхищение в Раорис, один из наивысших слоев Шаданакара, где Звента-Свентана пребывала тогда. Это откровение было им пережито в форме видения, воспринятого им через духовное зрение, духовный слух, духовное обоняние, органы созерцания космических панорам и метаисторических перспектив — то есть почти через все высшие органы восприятия, внезапно в нем раскрывшиеся. Ища в истории религии европейского круга какой-нибудь аналог или, лучше сказать, предварение такого духовного опыта, Соловьев не смог остановиться ни на чем, кроме гностической идеи Софии Премудрости Божией. Но идея эта у гностика Валентина осложнена многоярусными спекулятивными построениями, с опытом Соловьева, по-видимому, почти ни в чем не совпадавшими, тем более, что он сам считал какие бы то ни было спекуляции на эту тему недопустимыми и даже кощунственными. Идея эта не получила в историческом христианстве ни дальнейшего развития, ни, тем более, богословской разработки и догматизации. Это естественно, если учесть, что эманация в Шаданакар великой богорожденной женственной монады совершилась только на рубеже  XIX   века, — метаисторическое событие, весьма смутно уловленное тогда Гёте, Новалисом и, может быть, Жуковским. Поэтому до   XIX   века никакого мистического опыта, подобного опыту Соловьева, просто не могло быть: объекта такого опыта в Шаданакаре еще не существовало. В эпоху гностицизма воспринималось другое: происшедшее незадолго до Христа низлияние в Шаданакар сил Мировой Женственности, не имевшее никакого личного выражения, никакой сосредоточенности в определенной богорожденной монаде. Эхо этого события достигло сознания великих гностиков и отлилось в идею Софии. В восточном христианстве образ Софии Премудрости Божией все-таки удержался, хотя и остался никак не связанным с православною богословскою доктриной и даже как-то глухо ей противореча. Слабые попытки увязать одно с другим приводили только к абсурду, вроде понимания Софии как условно-символического выражения Логоса, Христа.

Сам Соловьев считал, что в девяностых годах прошлого века для открытой постановки вопроса о связи идеи Софии с православным учением время еще не пришло. Он хорошо понимал, что вторжение столь колоссальной высшей реальности в окостеневший круг христианской догматики может сломать этот круг и вызвать новый раскол в церкви; раскол же рисовался ему великим злом, помощью грядущему антихристу, и он хлопотал, как известно, больше всего о противоположном: о воссоединении церквей. Поэтому он до конца своей рано оборванной жизни так и не выступил с провозвестием нового откровения. Он разрешил себе сообщить о нем лишь в легком, ни на что не претендующем поэтическом произведении. Личная же скромность его и глубокое целомудрие, сказывающиеся, между прочим, в кристальной ясности языка даже чисто философских его работ, подсказали ему — окружить повесть о трех свиданиях, трех самых значительных событиях его жизни, шутливым, непритязательно-бытописующим обрамлением. Поэма осталась мало известной вне круга людей, специально интересующихся подобными документами, — круга, у нас немногочисленного даже и перед революцией, а ныне и вовсе лишенного возможности как-либо проявлять себя вне стен своих уединенных комнат. Но влияние этой поэмы и некоторых других лирических стихотворений  Соловьева , посвященных той же теме, сказалось и на идеалистической философии начала века — Трубецком, Флоренском, Булгакове — и на поэзии символистов, в особенности Блока.

Из всего только что сказанного как будто бы ясно, что грядущее рождение Звенты-Свентаны в Небесной России силами демиурга Яросвета и Навны имеет к идеям Соловьева самое прямое отношение, ибо Звента-Свентана — это не что иное, как выражение Женственной ипостаси Божества для Шаданакара. Всякому ясно, следовательно, что такие идеи, вытекающие из откровения Вечной Женственности, не совпадают с пониманием Троичности в ортодоксальном христианстве. И не удивительно, что В. Соловьев, пекшийся о воссоединении христианства, а не о его дальнейшем дроблении на конфессии и секты, не торопился оглашать свой пророческий духовный опыт.

Была, вероятно, и вторая причина. Хорошо знакомому с историей религии Соловьеву не могли быть неизвестны факты, показывающие, что вторжение в религиозные организации и в культ представлений о различии божественно-мужского и божественно-женского начал чревато исключительными опасностями. Понятые недостаточно духовно, недостаточно строго отделенные от сексуальной сферы человечества, вторжения эти ведут к замутнению духовности именно сексуальной стихией, к кощунственному отождествлению космического духовного брака с чувственной любовью и, в конечном счете, к ритуальному разврату. Насколько можно судить, положительный опыт — лицезрение Звенты-Свентаны в этом облике сверхчеловеческой и сверхмирской женственной красоты — был для Соловьева настолько потрясающим, настолько несовместимым ни с чем человеческим или стихийным, что духовидца с тех пор отталкивали какие бы то ни было спуски в слои противоположных начал. Он знал, и хорошо знал о существовании Великой Блудницы и о возможных страшных подменах, подстерегающих всякое недостаточно четкое, недостаточно окрепшее сознание, уловившее зов Вечно Женственного сквозь замутняющие слои страстных, противоречивых эмоций. Но существование великой стихиали человечества — Лилит, ваятельницы и блюстительницы плоти народов, осталось, по-видимому, для него неясным. Он употребляет раза два или три выражение «Простонародная Афродита», но, очевидно, разумеет при этом неопределенное смешение двух начал: стихиального и сатанинского. Их спутанность, нерасчлененность в представлениях Соловьева — несомненна. Но указание на подстерегающую в этом направлении опасность, сделанное хотя бы в такой неотчетливой форме, было все же необходимо в высшей степени. После происшедшего с Александром Блоком можно только пожалеть, что это предупреждение Соловьева не было сделано с большею разработанностью.

В том, что миссия Соловьева осталась недовершенной, нет ни капли его собственной вины. От перехода со ступени духовидения на ступень пророчества его не отделяло уже ничто, кроме преодоления некоторых мелких человеческих слабостей, и вряд ли может быть сомнение в том, что, продлись его жизнь еще несколько лет, эти слабости были бы преодолены. Именно в пророчестве о Звенте-Свентане и в создании исторических и религиозных предпосылок для возникновения Розы Мира заключалась его миссия. Тогда Роза Мира, вернее ее зерно, могло бы возникнуть еще внутри православи, его изменяя и сближая со всеми духовными течениями правой руки. Это могло бы произойти в России даже, в условиях конституционной монархии. Соловьев должен был бы принять духовный сан и, поднимая его в глазах народа на небывалую высоту авторитетом духовидца, праведника и чудотворца, стать руководителем и преобразователем церкви. Известно, что в последние годы жизни перед внутренним взором Соловьева все отчетливее раскрывались перспективы последних катаклизмов истории и панорама грядущего царства противобога, и он сосредоточился на мечте о воссоединении церквей и даже о будущей унии иудаизма и ислама с христианством для борьбы с общим врагом: уже недалеко во времени рисовавшимся пришествием антихриста. В его письмах имеются бесспорные доказательства, что в подготовке общественно-религиозного сознания к этой борьбе он видел в последние годы свое призвание. Мы не можем знать, в каких организационных и структурных формах религиозности совместил бы он преследование этой задачи с пророческим служением Вечной Женственности. Формы эти зависели бы не от него одного, но и от объективных условий русской и всемирной истории. Но и само течение этой истории было бы иным, если бы первые тридцать лет двадцатого столетия были бы озарены сиянием этого светлейшего человеческого образа, шедшего прямой дорогой к тому, чтобы стать чудотворцем и величайшим визионером всех времен.

Призвание осталось недовершенным, проповедь — недоговоренной, духовное знание — не переданным до конца никому: Соловьев был вырван из Энрофа в расцвете лет и сил тою демонической волей, которая правильно видела в нем непримиримого и опасного врага.

Обаяние его моральной личности, его идей и даже его внешнего облика — прямо-таки идеального облика пророка в настоящем смысле этого слова — воздействовало на известным образом преднастроенные круги его современников чрезвычайно, и это несмотря на всю недоговоренность его религиозного учения. За пятнадцать лет, протекшие от его смерти до революции, было издано многотомное собрание его сочинений и появилась уже целая литература о Соловьеве и его философии. Работа эта была оборвана на сорок с лишним лет с приходом предшественников того, о ком он предупреждал. Подобно завесе гробового молчания, опущенной на весь отрезок жизни Александра Благословенного после Таганрога, глухая вода безмолвия сомкнулась и над именем Владимира Соловьева. Его сочинения и работы о нем были сделаны почти недоступными, и имя философа проскальзывало только в подстрочных примечаниях к стихам Александра Блока, как имя незадачливого идеолога реакции, внушившего молодому поэту кое-какие из наиболее регрессивных его идей. Философская бедность России повела к провозглашению вершинами философии таких деятелей  XIX   столетия, в активе которых числятся только публицистические, литературно-критические или научно-популярные статьи да два-три художественно беспомощных романа. Единственный же в России философ, создавший методологически безупречный и совершенно самостоятельный труд «Критика отвлеченных начал», замечательную теодицею «Оправдание добра» и ряд провидческих концепций в «Чтениях о богочеловечестве», «Трех разговорах», «России и вселенской церкви», — оказался как бы не существовавшим. Дошло до того, что целые интеллигентные поколения не слыхали даже имени Владимира Соловьева, покоящегося на московском Новодевичьем кладбище подобескрещеной плитой.

Что в Синклите России могуч Пушкин, велик Достоевский, славен Лермонтов, подобен солнцу Толстой — это кажется естественным и закономерным. Как изумились бы миллионы и миллионы, если бы им было показано, что тот, кто был позабытым философом-идеалистом в России, теперь досягает и творит в таких мирах, куда еще не поднялись даже многие из светил Синклита.//Даниил Андреев. «Роза Мира» (с)